

В своей книге Д.Е. Афиногенов исследует историю константинопольского патриархата в 784–847 гг. главным образом с двух точек зрения. Прежде всего ученый рассматривает взаимоотношения патриархов свв. Тарасия, Никифора и Мефодия и их сторонников с императорской властью, не раз выступавшей главной зачинщицей гонений на иконопочитание; кроме того, историк обращает внимание на отношения патриархата в указанное время с монашеством Студийского монастыря в Константинополе. В заслугу исследователю надо поставить издание в приложениях Жития Никиты Никомидийского, послания Мефодия к иерусалимскому патриарху, его же “Слова о святых иконах” и “Слова об изгнании Никифора” пресвитера Феофана.

Построение книги трудно назвать удачным. Отказавшись от описания первого периода иконоборчества (727–784) из-за недостаточности источников (с. 7), Д.Е. Афиногенов помещает между посвященными патриархам Никифору и Мефодию разделами главы “Возобновление иконоборчества и православное сопротивление”, содержание которой целиком относится к патриаршеству того же Никифора. Пятнадцать лет, прошедшие после его смерти до возведения на престол Мефодия (828–843), совершенно выпадают из повествования историка. За гл. V (“Иконоборчество: догматическое заблуждение или злоупотребление властью?”), которая могла бы выглядеть итоговой, неожиданно следует разбор Хроники Георгия Амартола на предмет ее принадлежности к сочинениям писателей патриаршего круга. Возможно, эта определенная нечеткость построения работы не случайна. В самом ее начале Д.Е. Афиногенов указывает, как он старался проверять подлинность своих воззрений, – смотря по тому, насколько они помогают “разобраться в том или ином отдельном событии, конфликте

или тенденции” (с. 5). Такой подход представляется довольно сомнительным, так как в некоторых случаях он может содействовать в объяснении *отдельных* исторических явлений, но не их *совокупности*, уводя тем самым исследователя по ложному пути, а заодно и превращая его книгу в сборник статей, пусть и “объединенных общей идеей”.

Само направление научного поиска Д.Е. Афиногенова при рассмотрении взаимоотношений патриархата и государства в 784–847 гг. совершенно обоснованно: иконоборческие споры своим существованием были обязаны откровенному вмешательству императорской власти в дела Церкви. Однако с многими обобщениями историка нельзя или трудно согласиться. Так, принародное унижение константинопольского предстоятеля Анастасия, самовластное поставление императором на его место Константина и расправа над последним из-за подозрений в заговоре еще не свидетельствуют о том, что совершивший все это василевс Константин V “рассматривал власть патриархов, наряду с авторитетом монашества, как одно из главных препятствий на пути к своей цели, т.е. полному подчинению Церкви государственной власти” (с. 14). На самом деле из происшедшего скорее следует, что государь был глубоко равнодушен к достоинству и правам патриаршего престола, – цель, которую, по мнению ученого, преследовал император, требовала бы для ее достижения иных, прежде всего законодательных средств¹.

Так же поспешен, по всей видимости, вывод Д.Е. Афиногенова, согласно которому историк Феофан своим рассказом о поставлении на патриаршество

¹ Можно привести пример из позднейшего времени: для того, чтобы упразднить на Руси патриаршество и целиком подчинить Церковь государственной власти, Петру I не понадобилось подвергать издевательствам патриарха Адриана или патриаршего местоблюстителя Стефана Яворского; “Духовного регламента” оказалось достаточно.

Германа в 715 г. *проводит* “мысль, что законным патриархом может считаться только тот, кто избран... без недолжного вмешательства императорской власти” (с. 21). Если создатель “Хронографии” молчит об участии василевса в выборах Германа и в то же время обращает внимание на поставление именно императором иконоборца Никиты, то это вовсе не означает, что он тем самым уже выражает какое-либо правило². Ученый, кажется, более близок к истине, когда он в “Опровержении” Иерийского собора и в 3-м каноне II Никейского собора предполагает скрытые возражения против вмешательства императоров в дела Церкви (с. 29, 31). Однако и в этих обоих случаях остается все-таки неясным, шла ли там речь о сознательных “косвенных утверждениях” или же только о некоем движении мысли в подобном направлении.

Создается впечатление, что желание увидеть в 784–847 гг. определенный рост “веса и влияния” константинопольского патриархата (ср. с. 107) оказывает плохую услугу Д.Е. Афиногенову. Так, описывая выборы патриарха Никифора, он ссылается на слова из его жития, согласно которым они проходили без давления василевса, но немного позже сам же сообщает, что недовольные их исходом были посажены на 24 дня под замок (с. 41). В сообщении пресвитера Феофана об избрании столичным предстоятелем Мефодия ученый усматривает только уже “знакомую формулу”³, не оговаривая особо, что на этот раз, в отличие от предыдущих, “воля божественнейших царей” была упомянута на первом месте, еще до слов о согласии “церковного собрания” и сановников (с. 110). Отнюдь не очевидным выглядит уверенное утверждение исследователя, согласно которому перенесение мощей св. Никифора в 847 г. было задумано и осуществлено “с целью подчеркнуть торжество Церкви в лице покойного патриарха над го-

сударством...” (с. 115); одной ссылки на “настойчивые параллели” со св. Иоанном Златоустом в приводимом описании этого действия для такого вывода недостаточно. Совершенно непонятно, на основании чего Д.Е. Афиногенов обнаруживает у Мефодия “мысль о том, что иконоборчество было в первую очередь незаконным покушением императорской власти на прерогативы Церкви” (с. 111)⁴. Необоснованным выглядит и обобщение историка, согласно которому «представители “патриаршей партии”... в тактических и стратегических аспектах своей борьбы с иконоборчеством исходили из того, что последнее представляет собой прежде всего императорское предприятие, имеющее целью подчинить Церковь светской власти» (с. 116)⁵. Нельзя назвать вслед за ученым это положение действительно показанным “в предыдущих главах” его книги: собранные там свидетельства источников *столь* определенных и далеко идущих высказываний на этот счет не содержат. Показательна в этом отношении осторожность Георгия Амартола, который, возлагая в приводимой историком выдержке вину за лжеучения на власть имущих, так и не произнес при этом ключевого слова “василевс” (с. 144).

Не всегда убедительными представляются и разъяснения Д.Е. Афиногенова по поводу отношений между патриархатом и студийским кругом. Переводя ἀπολογία как “извинение” (с. 35–36), ученый несколько сгущает краски, изображая патриарха Тарасия извиняющимся (“ἀπολογία τοῦ ἡσάμενος”) перед студитами по окончании первой мирианской схизмы. Однако первые словарные значения этого греческого слова – “защита”, “оправдательная речь”⁶, так что гла-

² Самое большее, что можно в связи с этим сказать с уверенностью, – это то, что Феофан явно не считал, будто императору принадлежит решающее слово при выборах патриарха (ср. с. 41).

³ Надо полагать, имеются в виду рассказы о поставлении Германа, Тарасия и Никифора (с. 18, 20, 41).

⁴ Стоит обратить внимание на осмотрительность Мефодия, который, по его словам, *не решился бы*, подобно апостолу Павлу, сказать “анафема” царю-лжеучителю (с. 110).

⁵ Ср. далее: «[патриарх Никифор], как и многие из тех, кто принадлежал к “патриаршей” партии, считал, что основное содержание иконоборчества заключается скорее в превышении светской властью своих полномочий, нежели в вероучительных отклонениях» (с. 124).

⁶ Bensekers griechisch-deutsches Schulwörterbuch. Leipzig; Berlin, 1904. S. 99.

ва Церкви тогда постарался всего лишь оправдаться в своем поведении, не обязательно прося при этом прощения у своих недавних противников. По целому ряду причин вряд ли можно согласиться с исследователем и в его стремлении переложить с императора Никифора на соименного ему патриарха ответственность за “михианский” собор 809 г. Прежде всего, нельзя разом отказывать в доверии хронисту Феофану лишь потому, что он не навидел василевса (с. 46). Очень странным является соображение, согласно которому сторонники патриарха не стали бы хорошо отзываться об императоре, если бы именно он был главным виновником всех связанных со вторым “михианским” расколом неприятностей (с. 48), – ведь как светский, так и духовный предводители византийцев в этом споре были на одной стороне, кому бы из них в данном случае ни принадлежало первенство в борьбе с инакомыслящими. Вопреки мнению Д.Е. Афиногенова, *πάιτα* употреблялось в винительном падеже отношения и без артикля, например, “*πάιτα σοφὸν οὐχ ὀβόν τε ἀνθρώπων εἶναι*” (Хер. Мет. 4, 6, 7)⁷, поэтому слова Феодора Студита о патриархе “*ταπεινόμενον πάιτα Καίσαρι*” все-таки могут, вслед за некоторыми исследователями, пониматься и в смысле управляемости “во всем” константинопольского предстоятеля императором (см. с. 49). Ученый отказывается принимать за “риторические преувеличения” некие слова того же Феодора, согласно которым собравшиеся архиереи будто бы допустили освобождение василевса от церковных правил (с. 51), однако спустя две страницы он заявляет, что “решения собора не несли каких-либо существенных выгод императорской власти” (с. 53). Из посланий студийского игумена историк выводит готовность епископов объявить анафему всем, “кто осмелится критиковать вышестоящего архиерея... за что-либо, кроме ереси” (там же); жаль только, что достоверные свидетельства для

столь важного заключения автор книги так и не сообщает. Наверное прямые выдержки из писем Феодора могли бы придать вес утверждению ученого, но их он, к сожалению, не приводит. Поэтому вопрос о том, что в письмах православного подвижника действительно воспроизводит соборные решения, что является его собственным обобщением, а что, наконец, данью красноречию, в целом остается нерешенным. Воображаемое восстановление этих постановлений, предлагаемое Д.Е. Афиногеновым, никак не может заменить собой разбор источника, так что в конечном счете мнение историка, согласно которому патриарх попытался при помощи собора окончательно подавить “внутрицерковную оппозицию”, (с. 54), повисает в воздухе. Наблюдаемые ученым в дальнейшем различия во взглядах на природу иконоборчества между Феофором Студитом и писателями патриаршего круга не позволяют все же говорить о противоречиях в них “на уровне экклезиологии” (с. 130): если, согласно одному из них, в Византии “приумножились безверие и беззаконие”, то это не исключает сохранения “немногих... в православии и благочестии”, как писал другой (там же).

Нельзя согласиться и с пониманием Д.Е. Афиногеновым действий патриарха Мефодия. Упомянутое в его Житии чрезвычайно большое число низложенных в 843 г. церковнослужителей (20 тысяч) ученый готов принять за истинное (с. 89). Недоверие к этим данным было бы, кажется, более уместным. Во-первых, сведения такого рода вряд ли были “всем известными”, как полагает историк (там же). Во-вторых, создатель жития мог основываться не на каких-либо осуществлявшихся через патриархат или государственную власть подсчетах, сведения о которых попросту отсутствуют, а только на известных ему слухах. Так как рассказ о церковной “чистке” призван был показать значительность совершенного Мефодием (этому же служило его сравнение с пророком Илией), писатель мог просто назвать самое большое число низложенных, какое ему когда-либо довелось услышать.

⁷ “Человеку невозможно быть мудрым во всем” (см.: Черный Э. Греческая грамматика гимназического курса. Ч. 2. Синтаксис. М., 1888. С. 35–36):

По мнению Д.Е. Афиногенова, Мефодий сам был главным зачинщиком “великой чистки”, но постарался представить ее так, чтобы она выглядела его “уступкой православному общественному мнению” (с. 93). Однако приводимые историком сообщения источников скорее позволяют вообразить другую картину происшедшего: патриарх действительно колебался перед принятием столь крутого решения и пошел на него, лишь убедившись в поддержке со стороны пользующегося уважением монашества. Уже позже, как справедливо полагает историк, монах Савва задним числом изобразил в Житии Мефодия вопрос “чистки” главным предметом споров между студитами и патриархом (с. 95–96). В этом случае находят иное объяснение и слова Мефодия в письме его иерусалимскому собрату о нераскаянности бывших иконоборцев как главной причине их низложения: ссылка на совет известных в Константинополе (но не в Палестине) современных подвижников выглядела бы не очень убедительным оправданием его действий, заметно разнящихся от поведения в по-

добном же положении св. Тарасия. Не рассматривая такую возможность, ученый принимается за опровержение других толкований случившегося, согласно которым наказание низложением было мерой, “навязанной” Мефодию монахами или императрицей (с. 92–93).

Возможно, рассуждения историка выглядели бы более обоснованными, если бы он уделил в своей работе особое место обзору источников и не делал бы их чтение “между строк” одним из главных приемов своего исследования. Привести же действительно надежные и бесспорные доказательства усиления патриархата внутри Церкви (перед лицом студитов в первую очередь) и в отношениях со светской властью в 784–847 гг. ученому в конечном счете вряд ли удалось. Анафема императорам-ересиархам так и не была объявлена, и православные патриархи Константинополя вместе со своими сторонниками выглядели в целом скорее до странного мало озабоченными особым “политическим” происхождением иконоборчества.

А.В. Бармин

С о р о ч а н С.Б. Византия IV–IX вв.: этюды рынка. Структура механизмов обмена. Харьков: Бизнес-Информ, 1998. 452 с.

Монография украинского археолога и историка-византиниста С.Б. Сорочана написана в традициях “новой исторической науки” (связь с которой декларируют неперемные ссылки на классический труд Фернана Броделя) и, надо признать, удачно сочетает с приемами этой научной школы опирающееся на обширный фактический материал письменных источников и археологических памятников описание инфраструктуры византийской торговли в “длительной временной протяженности” – в течение всего полутысячелетнего периода трансформации Восточной Римской империи в средневековую Византию.

Гл. I–II исследования объединяет тема социальной топографии ранневизантийского города. Первая посвящена

связи городской площади и рынка. Автор выходит далеко за рамки социально-топографических наблюдений и касается атмосферы, языка, социокультурных функций рыночной площади, претерпевшей значительные изменения от позднеримского к “классическому” византийскому времени. Сокращение ее территории в византийских городах, по мнению исследователя, было в основном связано с выходом на форумное пространство тесными крепостными стенами торгово-ремесленных рядов и городских кварталов. Описание кварталов – предмет второй главы, где С.Б. Сорочан делает важный вывод, что профессиональная однородность торговых рядов и ремесленного населения городских кварталов, хотя и поддерживалась фискальными и административными мерами, не была безусловным типо-